

ни не могло бы быть вѣры, и жить не стоило бы. Другими словами, она должна потому, что мнѣ это въ высшей степени желательно. Вопросъ рѣшенъ волей, а «философія» должна «свободно подчиниться и создать подходящія формулы. Если же она этого не сдѣлаетъ, то... но въ дальнѣйшемъ мы увидимъ, что съ нею будетъ въ случаѣ конфликта съ волею.

Предположимъ, что философія подчинилась «примату» воли и разрѣшила вопросъ въ требуемомъ смыслѣ. Что дастъ она этимъ человѣку? Конечно, она не укажетъ ни новыхъ способовъ борьбы со зломъ, ни новыхъ пріемовъ превращенія зла въ средство къ благу,—она не поможетъ *реально* подчинить зло человѣческой волѣ. Она дастъ нѣчто другое: «отрадное убѣжденіе, радостнѣй котораго не можетъ быть ничего на свѣтѣ», какъ поясняетъ тотъ же авторъ нѣсколькими строками дальше. Съ такимъ убѣжденіемъ живется, безспорно, гораздо легче и спокойнѣе...

Но вотъ третья, смѣшанная постановка вопроса:

«Философія должна честно посчитаться съ этимъ вопросомъ во всемъ его объемѣ, малодушно не уклоняясь и не умаляя его трудности, безтрепетно глядя въ глаза надеждѣ и отчаянію, и та философія, которая вынесетъ эту борьбу побѣдоносно и пройдетъ透过 тернистый и мучительный путь сомнѣній, ничего не потерявъ изъ своего прежняго убѣжденія въ разумности существующаго и торжествѣ правды, достойна своего имени и можетъ быть учительницей людей... Счастливъ, о, трижды счастливъ тотъ, кому удалось честно и свято достраиваться до этого отраднаго убѣжденія, ибо радостнѣй этого убѣжденія не можетъ быть ничего на свѣтѣ» *).

Истинная твердость въ вѣрѣ представляеть въ наши дни очень рѣдкое явленіе—этимъ объясняется тотъ фактъ, что, за сравнительно чистой постановкой вопроса въ духѣ вѣры, мы у того же автора находимъ немедленно другую, допускающую какія-то «сомнѣнія», и «трудности», допускающую вопросъ

*) «Проблемы идеализма», стр. 34—35, *passim*.

«во всемъ его объемѣ», словомъ то, что вполнѣ естественно въ объективномъ изслѣдованіи, для котораго вопросъ не предрѣшенъ, но не въ философіи вѣры, для которой изъ «объема» вопроса о значеніи зла заранѣе устранина возможность отрицательнаго рѣшенія, а съ нею всѣ «трудности» и «сомнѣнія»*).

Что же дастъ человѣку рѣшеніе вопроса на почвѣ этой третьей его постановки? Да то же самое, что и при второмъ способѣ рѣшенія плюсъ еще, можетъ быть, раскаяніе въ прежнихъ сомнѣніяхъ, грѣховныхъ по отношенію къ вѣрѣ, и радость о томъ, что они побѣждены. Но пока надлежащее рѣшеніе не достигнуто, остается еще непрѣятный рискъ рѣшить вопросъ въ духѣ «отчаянія» и «дострадаться» до потери всякой надежды. Ясно, что этотъ путь—самый худший.

Но,—замѣтить свѣдущій читатель,—вы не совсѣмъ вѣрно изобразили рѣшеніе вопросовъ на пути вѣры въ томъ смыслѣ, что слишкомъ преувеличиваете подчиненіе мышленія практической волѣ. Что мысль и здѣсь пользуется извѣстной свободой, о томъ достаточно свидѣтельствуетъ хотя бы самый фактъ различныхъ отвѣтовъ на одни и тѣ же вопросы со стороны различныхъ системъ вѣрящаго мышленія.—Дѣйствительно, напримѣръ, по тому же вопросу о значеніи зла въ жизни одинъ метафизикъ сообщить намъ одно, другой—другое, третій—третье: ученикъ Платона объяснить, что зло не обладаетъ истинной реальностью, потому что такая реальность принадлежитъ только «идеямъ», а зло заключается въ неадекватности эмпирическихъ вещей ихъ идеямъ, въ неполнотѣ воплощенія идей; ученикъ Манеса будетъ говорить о борьбѣ двухъ абсолютныхъ началъ, добра и злого, и о неизбѣжной конечной побѣдѣ первого; ученикъ современного гностика Вл. Соловьевъ,

*) Вся эта вторая постановка вопроса совершенно выброшена г. Булгаковымъ во второмъ изданіи его статьи. Выкинуты также слова «страшно сказать» въ предыдущей цитатѣ, слова, тоже указывающія на нѣкоторую нерѣшительность и нетвердость въ вѣрѣ (истинной вѣрѣ ничего не можетъ быть «страшно сказать», что съ нею согласно). Очевидно, что колебанія г. Булгакова миновали, и а его укрѣпилась.

г. Булгаковъ, разскажетъ со словъ учителя о семейныхъ отношеніяхъ между абсолютомъ и міровой душою, и т. д., и т. д.

Все это такъ, но что изъ этого слѣдуетъ? Если воля предпишетъ мышленію и постановку вопроса, и основной смыслъ отвѣта, который долженъ получиться, то мышленіе можетъ, конечно, вознаградить себя за свою покорность полнымъ произволомъ въ способахъ выполненія предписанного. Но, какъ ни комбинировать покорность съ произволомъ, въ результатѣ никогда не будетъ того, что называется свободой, а будетъ только проявленіе двухъ неразрывно связанныхъ между собою сторонъ авторитарной психологіи—психологіи подчиненія и господства, причемъ мышленію достается роль раба, который, пользуясь моментами свободы, устраиваетъ разнуданныя оргіи.

Впрочемъ, даже упомянутый произволъ въ способахъ выполненія предписанного имѣть довольно тѣсныя границы или, вѣрнѣе, связанъ съ довольно значительными затрудненіями и неудобствами. Дѣло въ томъ, что различная рѣшенія однихъ и тѣхъ же вопросовъ, даже если сходятся между собою по основному смыслу, всетаки необходимо сталкиваются, конкурируя изъ-за господства надъ умами, потому что не могутъ же быть все приняты одновременно. Что тогда происходитъ? Начнемъ съ фактovъ дѣйствительности.

Вотъ что разсказываетъ г. Булгаковъ объ историческихъ отношеніяхъ вѣры и разума: «...въ живомъ или «конкретномъ» сознаніи... неразрывно соединены всѣ три источника познанія: вѣра, разумъ и опытъ. Въ исторіи философіи поочередно выдвигался какой-нибудь одинъ изъ нихъ, и объявлялись безумцемъ оба остальные, хотя живое сознаніе никогда не отказывалось и не можетъ отказаться отъ нихъ. Въ эпоху господства богословія, отвлеченного клерикализма, по выражению Соловьева, признавались права одной слѣпой, не просвѣтленной «блудницей» разумомъ вѣры; во славу вѣры горѣли костры инквизиціи, возжигаемые противъ свободного изслѣдованія. Прошли вѣка, и вѣру постигло такое же гоненіе отъ разума и науки, какому она ихъ въ свое время подвергала: самая за-

конные и священные потребности вѣры подвергались осмѣянію или просто игнорировались» *).

Сдѣлаемъ важную поправку: «костры инквизиції» были гораздо беспристрастнѣе, чѣмъ изображаетъ ихъ г. Булгаковъ; они «возжигались» не только противъ свободнаго изслѣданія, но также—and еще больше—противъ свободной вѣры, противъ всякаго творчества въ дѣлахъ вѣры. «Разумъ и наука» тоже не настолько односторонни,—всего больше они осмѣиваются, а затѣмъ игнорируютъ не «священные потребности», а плохія теоретическія построенія. И та и другая сторона были достаточно послѣдовательны и добросовѣстны въ своихъ «гоненіяхъ». Но вотъ вопросъ: какимъ образомъ у г. Булгакова хватило... хладнокровія написать слова «такое же гоненіе»? Какъ, насыщивая критика и игнорированіе—это «такое же гоненіе», какъ костры? Я, партизанъ «разума и науки», позволившій себѣ въ шутливомъ тонѣ бѣсѣдовать о просвѣщенномъ клерикализмѣ г. Булгакова и не придавать большого значенія его догматическимъ вѣщаніямъ, я «такой же гонитель», какъ тотъ инквизиторъ, который скажетъ Джордано Бруно?! Да, г. Булгаковъ умѣеть выбрать для себя выгодную позицію...

Г. Булгаковъ не усмотрѣлъ глубочайшаго принципіального различія—моралистъ назвалъ бы это различіе «этическимъ»—между методами борьбы въ томъ и другомъ случаѣ. А это различіе вытекаетъ изъ основного содержанія тѣхъ принципіовъ, о борбѣ которыхъ идетъ рѣчь.

Когда теоретическое убѣжденіе борется противъ другихъ убѣжденийъ, сущность дѣла можно выразить такой формулой: «я думаю такъ, а онъ думаетъ иначе, слѣдовательно—надо его опровергнуть». Опровергнуть—значить показать внутреннія противорѣчія данной идеи или ея противорѣчія съ фактами. Показать это надо не только для противника, но и для всѣхъ, кто можетъ ознакомиться съ его идеей, а для этого надо изобразить противорѣчія въ живой, наглядной, общедоступной формѣ, а такова по преимуществу форма юмористическая, тѣмъ болѣе, что сущность «комического» именно и заключается въ легко

*) «Отъ марксизма къ идеализму», стр. 207—208, *passim*.

преодолѣваемомъ психикою противорѣчіи. Вотъ вамъ и «осмѣяніе». Иногда же противорѣчія слишкомъ очевидны—тогда не стоитъ формально опровергать, а лучше «игнорировать». Такова логика чисто-теоретической борьбы.

Иное дѣло—борьба вѣры противъ вѣры. Здѣсь мало той формулы, которая выражаетъ борьбу теоретическихъ убѣждений. Вѣра, какъ первичная, недифференцированная форма, заключаетъ въ себѣ элементы и мышленія, и воли, съ рѣшительнымъ преобладаніемъ этихъ послѣднихъ. «Я вѣрю такъ, а онъ вѣритъ иначе»—это противоположеніе, если его вывести изъ эмбриональной формы и представить въ развернутомъ видѣ, разлагается на двѣ формулы: «я думаю такъ, а онъ думаетъ иначе», и «я хочу такъ, а онъ хочетъ иначе». Выводъ изъ первой формулы тотъ же, что и раньше: «следовательно, надо опровергнуть»,—отсюда теоретические споры между людьми, вѣрящими различно. Но выводъ изъ второй, очевидно, совершенно иной: одна воля не можетъ «опровергнуть» другую, она можетъ только сломить ее или уничтожить. Отсюда съ полной последовательностью вытекаетъ и пытка и костеръ. Въ этомъ инквизиція не ошибалась: она обладала хорошей логикой, до которой далеко ея нынѣшнимъ, дрябло-сантиментальнымъ потомкамъ. И это вполнѣ понятно: вѣдь, у инквизиціи была реальная сила, при которой не было надобности отступать передъ крайними практическими выводами изъ своего собственного міровоззрѣнія.

Здѣсь лежитъ фактическая граница «свободѣ», вѣрнѣе—произволу въ дѣлахъ вѣры.

II.

Изъ предыдущаго можно, повидимому, сдѣлать тотъ выводъ, что съ переходомъ отъ мышленія вѣрящаго къ строгому поznанію психическая жизнь становится бѣднѣе содержаніемъ: вѣдь при этомъ происходитъ *устраненіе* элементовъ воли изъ сферы мышленія,—остается, следовательно, менѣе, чѣмъ было. Именно таково мнѣніе г. Булгакова.

«Благодаря указаннымъ особенностямъ, кругъ доступнаго вѣрѣ шире, чѣмъ кругъ доступнаго дискурсивному мышленію; вѣрить можно даже въ то, что не только вполнѣ недоказуемо, но и не можетъ быть сдѣлано вполнѣ понятнымъ разуму, и эта область собственно и составляетъ специальное достояніе вѣры. Разсматривая дѣло исключительно съ формальной стороны, мы должны, следовательно, сказать, что тѣ знанія (какъ ни мало, повторяю, подходитъ здѣсь это слово), которыя даютъ вѣра, богаче и шире тѣхъ, которыя даютъ опытная наука и метафизика: если метафизика разрываетъ границы опытнаго знанія, то вѣра уничтожаетъ границы умопостигаемаго» *).

Вопросъ о метафизикѣ мы, конечно, оставимъ въ сторонѣ: эта промежуточная форма нась теперь не занимаетъ, такъ какъ дѣло идетъ о болѣе опредѣленныхъ и крайнихъ типахъ мышленія. Важно выяснить, какъ измѣняется психическая жизнь, когда моментъ познанія и моментъ воли строго дифференцируются одинъ отъ другого и перестаютъ смѣшиваться между собой.

Познаніе, освободившись отъ авторитарнаго вмѣшательства воли, выигрываетъ, очевидно, прежде всего въ томъ смыслѣ, что становится «свободнѣ» въ своемъ творчествѣ, получаетъ возможность не отступать передъ такими выводами, которые прежде были психологически-невозможны, какъ оскорбляющіе «чувство» (слово «чувство» въ этихъ случаяхъ есть неопределенное обозначеніе для общаго направленія воли). Выигрываетъ познаніе и въ томъ отношеніи, что для изслѣдованія открываются новыя области, которыя раньше были совершенно ему недоступны, какъ, напримѣръ, объективная природа и генезисъ того же вѣрящаго мышленія во всѣхъ различныхъ его формахъ (само себѣ это послѣднее могло рассматривать, конечно, только какъ данное, а именно, данное свыше, и потому объективному излѣданію не подлежащее). Вообще, освобожденное познаніе прогрессируетъ и количественно, и качественно.

*) «Проблемы идеализма», стр. 6; «Отъ марксизма къ идеализму», стр. 118.

А воля? Не терпить ли она большого ущерба, утративши цѣлую обширную область, на которую прежде простидалось ея влияніе? Чтобы судить объ этомъ, надо принять во вниманіе, какую дань получала она изъ этой области.

Всякое рабство развращаетъ не только раба, но и господина. Господинъ пріучается къ лести и впадаетъ въ изнѣженность. Чтобы угодить своей властительницѣ-волѣ, вѣрящее мышеніе постулируетъ то, что для воли желательно (напр., хотя бы «призрачность и безсиліе зла»), и тѣмъ самымъ удовлетворяетъ и успокаиваетъ волю. Если желательное уже постулировано и признано болѣе реальнымъ, чѣмъ сама реальность, то къ чему заботиться объ его «видимомъ» осуществленії? Васильевское мышеніе приноситъ въ дань сюзеренной волѣ опіумъ и гашишъ и, отравляя ее квѣтизмомъ, мстить ей за свое рабство.

Просвѣщенный клерикализмъ, впрочемъ, не хочетъ признать этого факта. Г. Булгаковъ утверждаетъ:

«...съ признаніемъ разумности общаго плана исторіи мы нисколько не освобождаемся отъ обязанности любить добро и ненавидѣть зло и бороться съ нимъ, разъ ему дано мѣсто въ жизни и въ исторіи. Это признаніе можетъ лишь укрѣпить увѣренность въ побѣдѣ добра и тѣмъ самымъ поднять духъ для борьбы со зломъ» *).

Но, сопоставляя это съ тѣмъ, что говорилось раньше о значеніи зла въ жизни, мы видимъ, что здѣсь имѣется явная не-послѣдовательность или, вѣрнѣе, одинъ изъ тѣхъ случаевъ, когда г. Булгаковъ, говоря его собственными словами, «разырастъ границы умопостигаемаго» и «вѣрить даже въ то, что не только вполнѣ недоказуемо, но и не можетъ быть сдѣлано вполнѣ понятнымъ разуму». Вѣдь если зло призрачно и безсильно, то какъ можно серьезно къ нему относиться? Ненавидѣть зло и бороться съ нимъ», зная, что оно есть только видимость—не значитъ ли это съ озлобленіемъ бросаться на злодѣя, фигурирующаго въ картинѣ кинематографа, или посыпать секундантовъ къ ругающемуся фонографу?

*) «Отъ марксизма къ идеализму», стр. 160.

Въ данномъ случаѣ выводы г. Булгакова, очевидно, дѣлаются честь его благороднымъ чувствамъ, но отнюдь не его логикѣ *).

Мышленіе, освобожденное отъ подчиненія волѣ, въ свою очередь, освобождаетъ волю отъ наркоза утѣшительныхъ иллюзий, и активность воли можетъ развернуться въ полной мѣрѣ. Съ этого времени воля находить въ познаніи не услужливаго лѣстца, а вѣрнаго товарища, который добросовѣтно указываетъ волѣ лучшія средства къ достижению ея цѣлей, выясняетъ шансы ихъ осуществленія, степень ихъ прогрессивности и вообще отношеніе ихъ къ общему ходу жизни.

Строгое разграничение въ психической жизни момента познанія и момента воли устраниетъ препятствія на пути развитія какъ познанія, такъ и воли. Этимъ создается возможность свободного прогресса глубины и ясности познанія, съ одной стороны, активности воли—съ другой. Энергія психической жизни возрастаетъ.

III.

Въ предисловіи къ своей книгѣ «Отъ марксизма къ идеализму» г. Булгаковъ разсказываетъ исторію своей Канносі. Сущность дѣла такова: г. Булгаковъ раньше *вѣрилъ* въ марксизмъ, а потомъ весьма правильно нашелъ, что это очень не подходящій объектъ для вѣры, и сталъ искать другихъ объектовъ; поиски увѣнчались полнымъ успѣхомъ, лишь только г. Булгаковъ «разорвалъ границы умопостигаемаго», границы, которая, какъ известно, опредѣляются логикой. Этимъ самымъ г. Булгаковъ вполнѣ оградилъ себя отъ полемики по существу со стороны тѣхъ, кто остался по сю сторону границъ логики, и наша задача по отношенію къ нему можетъ быть формули-

*) Наркотическое дѣйствіе вѣры на идеалистическую волю признается даже нѣкоторыми изъ нашихъ болѣе современныхъ противниковъ (см. Б. Кистяковскій «Проблемы идеал.», стр. 354—5).

рована такъ: описывать и по возможности объяснять, но отнюдь не опровергать.

Итакъ, г. Булгаковъ «вѣрилъ» въ марксизмъ, и это было большими заблуждениемъ не только съ его точки зрѣнія, но и съ нашей. «Специальное достояніе вѣры» составляетъ, по словамъ самого г. Булгакова, «то, что не только вполнѣ недоказуемо, но и не можетъ быть сдѣлано вполнѣ понятнымъ разуму». Очевидно, что для марксизма такая характеристика была бы чрезчур лестной, и по справедливости онъ ея не заслужилъ. Въ самомъ дѣлѣ, имѣется ли въ немъ мѣсто не дифференцированному отъ воли, вѣрящему мышленію?

Изъ различныхъ жизненныхъ противорѣчий въ общественныхъ отношеніяхъ людей, для отдельныхъ лицъ и цѣльыхъ классовъ возникаетъ определенная практическая задача: *овладѣть общественными отношениями людей въ интересахъ человечества*. Эта задача выражаетъ собою определенное направление активной воли. Неестественнѣсть первыхъ инстинктивныхъ попытокъ воли въ данномъ направленіи (утопизмъ интеллигентный и не интеллигентный—возвзванія къ филантропіи господствующихъ классовъ, разрушеніе машинъ и т. под.) пробуждаетъ *волю къ познанію*: ставится задача понять, *какъ и при какихъ условіяхъ измѣняются общественные отношения*. Это—теоретическая задача. Если она разрѣшена, то у насъ имѣется определенное *теоретическое убѣжденіе* относительно природы общественныхъ отношеній и закономѣрности ихъ измѣненія. Основываясь на немъ, человѣкъ приходитъ къ выясненію такихъ вопросовъ: въ какомъ направленіи измѣняются существующія отношения людей сами по себѣ, помимо активнаго вмѣшательства *сознательной* воли? Какія дополнительныя условія могутъ быть созданы этимъ вмѣшательствомъ? Осуществима ли основная задача — овладѣть общественными отношеніями въ интересахъ человечества, — осуществима ли она при данномъ направленіи стихийнаго развитія этихъ отношеній, и какія дополнительныя условія могутъ сдѣлать это осуществленіе возможно болѣе легкимъ, могутъ уменьшить рас-

трату силъ человѣчества, которой это осуществленіе будетъ стоять? Какъ создать эти условия? и т. д. Въ результатѣ, у насъ получится стройная система сознательной жизни, въ которой активная воля, стремясь къ реальней жизненной цѣли, имѣеть своимъ руководителемъ свободное познаніе, намѣчающее цѣлесообразныя средства. Одной изъ такихъ возможныхъ системъ является и марксизмъ,—только не тотъ, въ который «вѣрилъ» г. Булгаковъ.

Дѣло въ томъ, что такая система не оставляетъ въ самой себѣ мѣста вѣрящему мышленію. Въ ней направленіе активной воли опредѣляется потребностями жизни, а выводы теоріи—материаломъ опыта; эти выводы могутъ быть *гипотезой*, но не объектомъ и, особенно, не результатомъ вѣры, потому что получаются они на пути объективнаго познанія, а не субъективнаго «чувств», мотивируются фактами опыта, а не «законными потребностями» воли, для которой желательно, чтобы было такъ, а не иначе. Въ такой системѣ, какую мы описали, познаніе и воля взаимно дифференцированы и не смѣшиваются между собою.

Однако, нерѣдко случается, что человѣкъ, встрѣчая въ жизни такую систему, дѣлаетъ ее объектомъ вѣры; это было, какъ мы знаемъ, съ г. Булгаковымъ, ученымъ экономистомъ, но бываетъ также—и всего чаще—съ людьми неразвитыми, мало-образованными, которые «по чувству» присоединяются къ плохо понятому міросозерцанію. Какимъ образомъ это возможно?

Дѣло происходитъ въ различныхъ случаяхъ неодинаково, и не трудно установить два главныхъ типа подобныхъ явлений. Въ однихъ случаяхъ человѣкъ, по недостатку знанія и развитія, смутно и неясно воспринимаетъ данную систему; она близка и симпатична его душѣ, потому что соотвѣтствует направлению ея воли, но теоретическая сторона системы недоступна его провѣркѣ, и даже обыкновенно не вся ей известна. Тогда онъ принимаетъ «на вѣру» ея выводы, «постулируетъ» ихъ, потому что ему желательно, чтобы вся система была истинной. Здѣсь вѣра является результатомъ недостаточнаго

знанія. Съ теченіемъ времени она и замѣняется знаніемъ, или, говоря общѣ, теоретическимъ убѣжденіемъ. Достаточно человѣку пріобрѣсти знанія и опытъ, необходимые для пріовѣрки теоріи—и онъ переходитъ въ высшую фазу міровоззрѣнія: онъ сознательно принимаетъ или отвергаетъ теорію не потому, что ему инстинктивно хочется принять или отвергнуть, а потому что теорія оказывается въ соотвѣтствіи или не въ соотвѣтствіи со всей суммой его опыта и знаній. На мѣсто эмбриональной формы мышленія выступаетъ развитая, «инстинктивное» смыняется «сознательнымъ».

Въ другихъ случаяхъ сущность дѣла заключается не въ недостаткѣ знаній и опыта, а въ *типе мышленія*. Человѣкъ стоитъ на точкѣ зрењія вѣрящаго мышленія и принципіально неспособенъ съ нея сойти. Онъ вѣритъ, потому что живеть вѣрой, потому что его мышленіе не можетъ освободиться отъ подчиненія волѣ, и воля не хочетъ отказаться отъ права предписывать мышленію. Такой человѣкъ и *воспринимаетъ* описанную нами систему неизбѣжно въ искаженномъ видѣ, именно, какъ систему вѣры. Теоретическія положенія системы представляются ему не какъ выводы изъ опыта, точные или приближенітельные, а какъ «постуляты»; они для него истинны потому, что желательны, остальное для него не важно. При этомъ то, что въ теоріи условно, онъ разсматриваетъ, какъ безусловное, въ гипотезахъ видить догматы, и т. д. Ясно, что та система, въ которую онъ вѣритъ, совсѣмъ не та, которую другое признаютъ; это *фетишизированная* система. Ясно и то, что будучи такимъ образомъ извращена, она должна оказаться дистармоничной, полной противорѣчій и путаницы, вытекающихъ всецѣло изъ смышенія мышленія вѣрящаго и свободного. Человѣкъ перестаетъ удовлетворяться такой плохой вѣрою, и ищетъ новой, которая была бы уже настоящей вѣрой, а не извращенной теоріей. Найти, конечно, не трудно; стоитъ только оглянуться въ прошлое.

Такъ было съ г. Булгаковымъ. Дѣло осложнялось для него еще тѣмъ, что у него было, по его словамъ, двѣ вѣры: въ

Маркса и въ Канта. Въ Канта г. Булгаковъ вѣрилъ еще больше, такъ какъ «повѣрялъ Маркса Кантомъ». Но, разумѣется, обѣ вѣры пересорились, и г. Булгаковъ предпочелъ... третью.

IV.

Яркимъ примѣромъ того, какъ искажается теоретическое убѣжденіе, когда его превращаютъ въ объектъ вѣры, могутъ служить разсужденія г. Булгакова о научно-философской теоріи прогресса. Онъ полагаетъ, что эта теорія предписываетъ вѣрить въ безусловную необходимость прогресса, и естественно, что не находить у нея достаточныхъ для этого предпосылокъ. Въ дѣйствительности, эта теорія выясняетъ именно *условія* прогресса, и указываетъ способы овладѣть стихійными силами жизни такъ, чтобы направить ихъ въ сторону прогресса. Она можетъ также находить, и съ извѣстной степенью достовѣрности утверждать, что *данная* дѣйствительность заключаетъ въ себѣ достаточно условій для дальнѣйшаго прогресса — именно такъ относится современная теорія прогресса къ развитому капиталистическому строю. Но «постулировать» прогрессъ какъ нечто необходимое при всякихъ условіяхъ, независимо отъ условій — это вовсе не ея дѣло, а дѣло вѣры; и г. Булгаковъ самъ отвѣтственъ за всѣ несообразности той «теоріи», которую критикуетъ. Вольно ему было фантазировать и «вѣрить» тамъ, где требуется изслѣдовать и понимать *).

Оправдывнувъ *свою* старую теорію прогресса, г. Булгаковъ предлагаетъ взамѣнъ ея новую, если только можно примѣнить выражение «новая» къ догматикѣ, въ которой «нѣть того слова, чтобы меньше трехсотъ лѣтъ отъ роду». Вотъ что онъ «постулируетъ»:

«Итакъ, основные посылки теоріи прогресса таковы: нрав-

*) Я ограничиваюсь здѣсь этими немногими словами, потому что болѣе подробно выяснялъ эти недоразумѣнія г. Б. въ статьѣ «Новое средневѣковье».

ственная свобода человѣческой личности (свобода воли), какъ условіе автономной нравственной жизни; абсолютная цѣнность личности и идеальная природа человѣческой души, способная къ безконечному развитію и усовершенствованію; абсолютный разумъ, правящій міромъ и исторіей; нравственный міропорядокъ или царство нравственныхъ цѣлей, добро не только какъ субъективное представленіе, но и объективное и мощное начало» *).

Рядъ «недоказуемыхъ» положеній, которыхъ мы должны безпрекословно принять, чтобы «обосновать» на нихъ «теорію прогресса». Не слишкомъ ли много требуется отъ насъ г. Булгаковъ? А что если намъ, при всѣхъ условіяхъ, не удастся повѣрить, положимъ, хотя бы одному изъ этихъ положеній? Тогда безполезно вѣрить въ остальные—никакой «теоріи прогресса» не получится. И не лучше ли, не утомляя своей вѣры сложной схоластикой, просто и безхитростно «постулировать» только одну «предпосылку»—самый прогрессъ,—сказать себѣ: «вѣрю въ прогрессъ, потому что очень хочется, чтобы онъ былъ», и кончено. Правда, тогда не о чёмъ писать большія статьи, и при томъ наивность вѣры будетъ очевидна для всякаго. Но все же, что легче—вѣрить ли въ шесть сложныхъ и тяжеловѣсныхъ посылокъ, или въ одинъ—простой и легкій—«прогрессъ».

Конечно, если имѣть въ виду «умерцвленіе плоти» (точнѣе—логики), то надо предпочесть аппаратъ, предложенный г. Булгаковымъ...

А къ «плоти» г. Булгаковъ беспощаденъ, и не стѣсняется требовать отъ нея прямо невозможнаго. «Предположимъ на минуту,—говорить онъ,—что мы имѣемъ самый точнѣйший прогнозъ относительно ближайшаго 10-лѣтія, и на основаніи этого прогноза всѣ наши лучшія стремленія обречены на неудачу. Слѣдуетъ ли изъ этого, чтобы они перестали быть обязательными? Никоимъ образомъ. Ты можешь, ибо ты долженъ — та-

*) «Отъ марксизма къ идеализму», ст. «Основн. пробл. теоріи прогресса», стр. 147.

ковъ нравственный законъ» *). Другими словами: бейся лбомъ объ стѣну, растрчивай свои силы завѣдомо бесплодно, не смѣй бречь ихъ и накоплять къ тому времени, когда онѣ могли бы быть полезны—«ты можешь, потому что долженъ». Пусть ты станешь инвалидомъ, вреднымъ балластомъ для дѣла къ тому времени, когда «лучшія стремленія» станутъ практически осуществимы—это все ничего не значитъ—«ты можешь, потому что долженъ». «Страшна эта формула», полагаетъ г. Булгаковъ. Такъ ли? Не подходитъ ли къ ней больше другая характеристика?..

Здѣсь у г. Булгакова подразумѣвается, очевидно, еще одна «предпосылка»—*credo, quia absurdum.*

Какъ мы видѣли, г. Булгаковъ во времена своей, по его выражению, «атеистической вѣры», извратилъ, — конечно, неумышленно,—научно-философскую теорію прогресса, приписавши ей вѣру въ *безусловную* необходимость прогресса. При этомъ самая теорія, естественно, пріобрѣтала окраску грубаго фатализма, а роль прогрессивныхъ силъ исторіи, роль передовыхъ классовъ оказывалась иллюзорной: разумно ли заниматься созиданіемъ *условий* прогресса, когда неизбѣжность его все равно *безусловна*? Той дѣйствительной теоріи прогресса, которая изучаетъ его общія условия и для данного общества признаетъ или отвергаетъ его объективную вѣроятность, находя въ этомъ обществѣ достаточно или недостаточно такихъ условій, той теоріи г. Булгаковъ не зналъ, какъ и теперь не знаетъ, потому что она не укладывается въ рамки формъ «вѣры» вообще. Въ своей новой «теоріи прогресса» почтенный экономистъ значительно усилилъ окраску фатализма, такъ что «теорія» оказалась фаталистической въ самомъ точномъ— буквальномъ значеніи этого слова.

*) Тамъ же, стр. 146.

Первоначальное значение слова «*fatum*» — «сказанное», и чистая идея предопределения включает въ себя понятіе о *личной волѣ*, которая заранѣе сказала — формулировала и предписала — то, что случится. Именно такую личную волю и принимаетъ теперь г. Булгаковъ, какъ «предпосылку теоріи прогресса»; а издѣвательство этой воли надъ «абсолютнымъ достоинствомъ человѣческой личности», которая въ своихъ «свободныхъ поступкахъ и стремленіяхъ» оказывается «средствомъ для цѣлей абсолюта», онъ называетъ «абсолютнымъ лукавствомъ». Какая изъ двухъ формъ фатализма г. Булгакова унизительнѣе для человѣка, какъ существа развивающагося и активнаго? Намъ кажется, что послѣдняя: ужъ лучше быть игрушкой безличныхъ силъ, которыхъ «не вѣдаешь, что творять», чѣмъ игрушкой личнаго лукавства. А всего лучше вовсе не быть игрушкой,—но ужъ на это г. Булгаковъ, конечно, не согласится.

Курьезны тѣ возраженія, которыя дѣлаетъ г. Булгаковъ критикамъ, отмѣчающимъ фаталистический характеръ его «теоріи прогресса». Прежде всего, онъ отводить критиковъ-позитивистовъ на томъ странномъ основаніи, что они *сами* фаталисты. Да если бы это и было такъ, то какимъ образомъ это оправдывало бы фатализмъ г. Булгакова, или дѣлало бы его «теорію» менѣе фаталистичною? Но онъ, по обыкновенію, невѣрно передаетъ взгляды своихъ противниковъ, превращая ихъ *теорію* въ вѣру, а ихъ *принципы познанія* въ идоловъ. По его мнѣнію, они, признавая «абсолютное господство закона причинности», тѣмъ самымъ признаютъ какой-то *fatal*. Очевидно, что законъ причинности представляется почтенному профессору не то какъ личное существо, «лукавствующее» надъ волею людей, не то какъ самостоятельная стихійно-принудительная сила, господствующая надъ ними. Ему разумѣется извѣстно, но онъ *не хочетъ* знать и видѣть, что современный позитивизмъ считаетъ «законъ причинности» только способомъ познавательно связывать явленія въ непрерывный рядъ, только *формой координаціи опыта*, — что эту форму онъ признаетъ

исторически-выработанной, всеобщей въ силу своей цѣлесообразности для познанія, и подлежащей критикѣ и дальнѣйшему развитію. Г. Булгаковъ предпочитаетъ заканчивать исторію по-зитивизма на материалистѣ Гольбахѣ, жившемъ около $1^{1/2}$ вѣковъ тому назадъ. Вообще, г. Булгаковъ умѣетъ выбирать для себя самую выгодную позицію. Это, впрочемъ, обычная черта просвѣщенного клерикализма.

Затѣмъ г. Булгаковъ возражаетъ за себя противъ обвиненія въ фатализмѣ. Съ точки зрења «вѣры» его возраженія, вѣроятно, очень сильны, но если держаться «границъ умопостигаемаго», т. е. логики, то они производятъ странное впечатлѣніе. Вотъ эти возраженія: «Во всякомъ случаѣ въ своей статьѣ я не далъ повода причислять себя къ сторонникамъ метафизического фатализма, ибо говорю въ ней и о долгѣ, и откатегорическомъ императивѣ, и объ историческихъ обязанностяхъ, словомъ, о такихъ вещахъ, о которыхъ фаталиству, пожалуй, слѣдовало бы молчать. Напротивъ, я стремлюсь помирить въ своемъ міровоззрѣніи необходимость и свободу, не жертвуя ни свободой въ пользу всепожирающаго детерминизма, ни объективной закономѣрностью въ пользу абсолютнаго окказионализма и личнаго произвола. Міровой и исторической процессъ можно мыслить, какъ такой плачомѣрный процессъ, въ первоначальный планъ котораго включена человѣческая свобода, какъ его основное и необходимое условіе... существованіе общаго провиденціального плана возможно безъ какого бы то ни было стѣсненія человѣческой свободы. Конечно, такое решеніе вопроса о свободѣ и необходимости можетъ быть предложено лишь въ связи съ цѣльной метафизической доктриной... Я лично нахожу его въ философіи Вл. Соловьева, къ которой и отсылаю читателя» *).

Г. Булгаковъ «говорить о томъ, о чёмъ фаталиству слѣдовало бы молчать: о долгѣ, историческихъ обязанностяхъ», и

*) „Отъ м. къ ид.“, стр. 158. Цитируемся *passim*. Пропуски не мѣняютъ дѣла.

т. д. Что же онъ этимъ доказывать? Повидимому, только свою непослѣдовательность. А впрочемъ, развѣ все это—и долгъ, и категорической императивъ, и историческая обязанности—не входитъ въ область вѣдѣнія фатального «лукавства»? Если свобода «включена въ планъ», и всѣ ся проявленія «предусмотрѣны», т. е. предопределены, то какая же это «свобода?» Тутъ даже Вл. Соловьевъ ничего не подѣляетъ... И все «примиреніе свободы и необходимости» сводится, такимъ образомъ, къ тому, что «лукавство» жестоко издѣвается надъ обѣими. Славное примиреніе!

Повторяемъ еще разъ: мы вовсе не имѣемъ въ виду опровергать г. Булгакова,—это *невозможно*, потому что всякое плоское противорѣчіе, имъ высказанное, онъ во всякой моментъ можетъ вполнѣ оградить отъ какой бы то ни было критики, объявивши, что оно «не можетъ быть сдѣлано вполнѣ понятнымъ разуму». Но *констатировать* эти противорѣчія мы, все-таки, въ правѣ, и дѣло читателя—судить о нихъ.

Однако, не находитъ ли читатель, что для настоящей вѣры въ «теоріи прогресса» г. Булгакова слишкомъ много разсужденій и схоластическихъ увертокъ, тогда какъ для «теоріи» слишкомъ много «недоказуемыхъ постулатовъ»?

На этомъ врядъ ли возможно остановиться: это неустойчивая комбинація.

VI.

Г. Булгаковъ по специальности экономистъ. Политическая экономія есть наука, пока еще не особенно точная, но во всякомъ случаѣ *наука*, и, какъ таковая, допускаетъ, конечно, гипотезы, предположенія, но отнюдь не постуляты вѣры. Г. Булгаковъ и здѣсь, однако, не измѣнилъ своей натурѣ: онъ былъ и остается *впрующими* экономистомъ; онъ мѣнялъ только объекты своего «правовѣрія». Когда онъ вѣровалъ въ свою pseudo-«научную теорію прогресса», то вѣровалъ также и въ эконо-

мическое учение марксизма, внося въ него, разумѣется, всѣ неизбѣжныя недоразумѣнія вѣрящаго мышленія. Когда онъ увѣровалъ въ «лукавство», онъ долженъ быть, соотвѣтственно этому, перейти и въ другую экономическую вѣру. Этой послѣдней посвящены его статьи «Объ экономическомъ идеалѣ» и «Задачи политической экономіи».

Новая ортодоксія почтеннаго экономиста такова:

«Политическая экономія... возникла и существуетъ, поддерживаемая той практической важностью, которую въ настоящее время имѣютъ экономические вопросы въ жизни культурнаго человѣчества. Она родилась какъ плодъ поисковъ современного сознанія и совѣсти за правдой въ экономической жизни. Она вызвана не теоретическими, а этическими запросами съ временнаго человѣчества. Политическая экономія, п-этому предварительному ея опредѣленію, есть прикладная этика, именно, этика экономической жизни» *).

Съ точки зрењія «умопостигаемаго» здѣсь можно было бы найти крупныя натяжки. На р., трудно какъ-то повѣрить, чтобы «этическими» только запросами было вызвано учение о «денежномъ балансе», о «торговомъ балансе», учение А. Смита объ экономическомъ принципѣ эгоизма, противоположномъ этическому принципу альтруизма, различныя вульгарно-апологетическая теоріи, «послѣдній часъ» Seniorа и т. п. Дѣло обясняется тѣмъ, что всякая наука возникаетъ изъ практическихъ потребностей жизни, которая побуждаютъ и опредѣляютъ собою волю къ познанію; а политическая экономія возникла, соотвѣтственно этому, изъ общественно-практическихъ потребностей, что съ точки зрењія «свободы воли» и «лукавства» нѣтъ надобности отличать отъ «этическихъ» потребностей: въ свѣтѣ абсолютнаго всея жизни людей есть этическое упражненіе.

«Этическій экономистъ» есть, очевидно, не что иное, какъ о обая разновидность «субъективнаго соціолога». Г. Булгаковъ самъ вполнѣ признаетъ это.

*) «Отъ маркс. къ ид.», «Объ эконом. ид.», стр. 264, *passim*.

«Субъективизмъ необходимо присущъ всякому творчеству, созданію изъ себя или изъ своей субъективности, и поскольку политическая экономія есть не только наука, но и техника, не только констатирует существующее, но и постулируетъ должное, субъективизмъ изъ нея неустранимъ... Итакъ, соціальная наука вообще и политическая экономія въ частности не можетъ понимать безъ того, чтобы не плакать и не смѣяться; въ этомъ состоить не только ея право, но и ея обязанность... И въ этой борьбѣ съ претензіями зазнавшагося объективизма,— повторяю это еще разъ,—заключается правда субъективной соціологии, какъ ни дурно обосновывала ее философски эта послѣдняя» *).

«Дурная философская обосновка»—это, очевидно, формальное признаніе идей позитивизма нашими старыми субъективными соціологами. Если бы они догадались уйти изъ «границъ умопостигаемаго» и «обосновывать» свое учение на «лукавствѣ» ничего больше бы не требовалось. Правда, г. Булгаковъ дѣлаетъ еще оговорку насчетъ того, что «соціологический субъективизмъ долженъ быть возможно наученъ, контролироваться средствами научного опыта» **). Но противъ такой оговорки субъективные соціологи», конечно, ничего не возвращатъ; напротивъ, имъ должно очень понравиться спокойное и увѣренное повтореніе ихъ любимаго плоскаго противорѣчія «научный субъективизмъ», повтореніе особенно цѣнное послѣ того, какъ ихъ противники выяснили и доказали, что «объективизмъ» и «научность» въ познаніи одно и то же.

И все-таки мы позволяемъ себѣ сомнѣваться, чтобы наши субъективисты обрадовались своему новому союзнику. Тотъ путь, на которомъ онъ пришелъ къ этому союзу, придаетъ не особенно лестное освѣщеніе ихъ собственной психологіи: онъ подчеркиваетъ то смѣшеніе элементовъ вѣры и теоретического мышленія, которое составляетъ основу и ихъ доктрины.

*) «Отъ м. къ ид.» 332 — 333. Цитировано passim во избѣженіе длинныхъ выписокъ

**) Тамъ-же, стр. 334.

VII.

Теоретическая экономія съ ея абстрактнымъ методомъ отличается такимъ крайнимъ объективизмомъ, что превратить ее въ этику, да еще прикладную, нѣтъ рѣшительно никакой возможности. Поэтому г. Булгакову, чтобы выдержать свою точку зре́нія, оставалось только одно: совсѣмъ покончить съ этой наукой. Такъ онъ и сдѣлалъ.

П членный экономистъ слѣдующимъ образомъ рисуетъ теоретическую экономію:

«Она ставить себѣ приблизительно такой вопросъ: какъ можно мыслить въ абстракціи связь между нѣкоторыми фактами (феномены цѣнъ, прибыли, капитала, ренты), помимо эмпирической связи между ними, устанавливаемой и разъясняемой въ политической экономіи? Какой логический мостъ можно перекинуть, опираясь на эти твердыя основанія? Она не находитъ себѣ задачи прямо въ опыте, а ее выдумываетъ, сочиняетъ, и тѣмъ самымъ выдумываетъ самое себя.

«Что теоретическая экономія на самомъ дѣлѣ не имѣть цѣлью опытное познаніе, изученіе и анализъ дѣйствительности, ясно само собою изъ ея содержанія. Послѣ всѣхъ ея логическихъ усилий и построений наши эмпирическія познанія никакъ не обогащаются, такъ что для пониманія экономической дѣйствительности ничего не потеряетъ тотъ, кто останется совершенно чуждъ спекуляціямъ о цѣнности и т. д., какъ это хорошо известно и изъ исторіи экономической науки» *).

Здѣсь самое поразительное—это ссылка на исторію экономической науки. Воздерживаясь отъ всякой полемики съ г. Булгаковымъ, которая, какъ я уже указывалъ, по существу дѣла невозможна, я не могу не отмѣтить для читателя, какъ вѣрящее мышленіе, въ случаѣ надобности, безъ колебаній и сомнѣній искажаетъ факты.

*) «Отъ марксизма къ идеализму», стр. 342.

Именно история экономической науки дает намъ понятіе о томъ громадномъ значеніи для познанія и жизни, которое имѣла и имѣть теоретическая экономія. На ней обосновывались решенія вопросовъ о фитредерствѣ и протекціонизмѣ, вопросы о значеніи потребительныхъ и производительныхъ товариществъ для общаго уровня жизни рабочаго класса, современаго вопроса о томъ, могутъ или не могутъ тресты устранить общіе кризисы и т. д. Г. Булгаковъ предложилъ бы решать эти вопросы на почвѣ «эмпирическихъ фактовъ», независимо отъ общаго необходимаго или, какъ онъ выражается, «логического» соотношенія между капиталомъ и прибылью, заработной платой и цѣнностью средствъ потребленія, между предпріятіями однородными и разнородными и т. д. Пусть такъ: г. Булгакову, очевидно, не нравятся тѣ решенія всѣхъ этихъ вопросовъ, которые получаются при помощи теоретической экономіи; но человѣку, стоящему на почвѣ изслѣдующаго, а не вѣрящаго мышленія, это никогда не послужило бы основаніемъ утверждать, что такія решенія вообще невозможны, что теоретическая экономія, какъ чистая схоластика, ставить несуществующіе вопросы и не можетъ служить для разъясненія и пониманія фактовъ дѣйствительности.

То идеализированное и схематизированное представление фактовъ опыта, которое характеризуетъ абстрактный методъ теоретической экономіи, есть общая черта всѣхъ наукъ, устанавливающихъ общіе законы явлений. Кто знакомъ съ естественными науками, тотъ знаетъ, что всякой общей научный принципъ выражаетъ какое-нибудь идеальное соотношеніе, такое, какого въ чистомъ видѣ опыта, даже наиболѣе обставленный, никогда не даетъ. Всѣ эти принципы исходятъ изъ идеальныхъ, *предельно-простыхъ* условій, и служатъ выражениемъ *предельныхъ* отношеній между явлениями. Никогда и никто не видалъ взаимодѣйствія только двухъ тѣлъ, или движенія тѣла безъ всякаго воздействиія на него среды, а потому законы движенія, установленные Ньютономъ, суть только *пределы нынѣшняго абстракціи*. Но онѣ даютъ намъ способы анализиро-

вать и понимать конкретные явления. Таковы же предельные абстракции теоретической экономии, и таково же их реальное значение.

VIII.

Въ послѣднихъ статьяхъ г. Булгакова есть много ярко-прогрессивныхъ фразъ, которыя для большинства читателей могутъ показаться достаточно окупющими реакціонныя основы міровоззрѣнія почтенного профессора. Чтобы болѣе точно оцѣнить взаимное отношеніе этихъ двухъ сторонъ идеиной дѣятельности г. Булгакова, мы сдѣляемъ нѣсколько маленькихъ сопоставленій.

Идеи равенства и свободы г. Булгаковъ выводить изъ по-тусторонняго міра,—въ этомъ для него ихъ *высшая санкція*: «Люди неравны по природѣ, неравны по возрастамъ, по поламъ, по талантамъ, по образованію, по наружности, по уловлѣніямъ воспитанія, по жизненнымъ успѣхамъ, по характерамъ и т. д., и т. д. Слѣдовательно, изъ опыта идеи равенства почерпнуть мы не могли, изъ опыта мы могли бы получить скопрѣе античнаго или ницшеанскаго идеи. Равенство людей не только не есть фактъ, но даже и не можетъ имъ сдѣляться, это есть лишь *норма человѣческихъ отношеній, идеаль, прямо отрицающій эмпирическую дѣйствительность*» *).

Представимъ себѣ такой случай: г. Булгаковъ неожиданно для себя пришелъ къ тому выводу, что идея равенства (и точно также идея свободы) имѣеть *эмпирическое происхожденіе*. Тогда потусторонняя санкція идеи сразу исчезнетъ, и идея потеряетъ все значеніе въ глазахъ г. Булгакова. А между тѣмъ мысль объ эмпирическомъ происхожденіи идеи равенства настолько проста и естественна, что отъ нея не можетъ гарантировать даже вѣрящее мышленіе. Достаточно сообразить, что изъ фактическаго неравенства для людей возникаетъ много непрѣятностей, и они въ своей борьбѣ съ этимъ неравенствомъ обобщаютъ свое отрицательное отношеніе къ нему въ идеѣ, которая окажется именно

*) Ст. «О соціальномъ идеалѣ», стр. 300.

идеей равенства. Вѣдь человѣкъ всегда стремится къ тому, чего ему не хватаетъ, что, слѣдовательно, еще не дано объективно въ его опытѣ,—но самое-то стремленіе возникаетъ изъ противорѣчій, и неудобствъ того, что дано въ опытѣ; и обобщенная формула этого стремленія есть лишь обобщенное отрицаніе этихъ противорѣчій и неудобствъ, т. е. не заключаетъ въ себѣ ровно ничего сверхъ-опытнаго. Съ точки зренія г. Булгакова слѣдовало бы принять, что человѣкъ вообще не можетъ на почвѣ опыта сдѣлать ничего новаго, потому что новое—это и есть то, что еще не дано въ опытѣ. Если г. Булгаковъ отступить передъ этимъ выводомъ, то ему останется только признать и идею равенства не сверхъ-опытной по происхожденію; а тогда какую цѣну будетъ она имѣть въ его глазахъ? Впритѣмъ въ нее онъ во всякомъ случаѣ перестанетъ,—«эмпирическое» слишкомъ низменный объектъ для вѣры.

«Идеаль равенства, — говорить г. Булгановъ, — имѣеть смыслъ и значеніе, соответствуетъ верховной идеѣ справедливости лишь какъ требованіе возможнаго равенства условій для развитія личности въ цѣляхъ свободнаго ея самоопределѣнія, нравственной автономіи. Другими словами, все практическое содержаніе идеи равенства сводится къ идеѣ свободы личности и къ требованію общественныхъ условій развитія, этой свободы личности и къ требованію общественныхъ условій развитія, этой свободѣ наиболѣе благопріятствующихъ» *).

«Достижимы въ историческихъ условіяхъ только конкретныя цѣли, между тѣмъ идеаль справедливости абстрактенъ и, по самому своему смыслу, можетъ соединяться съ различнымъ конкретнымъ содержаніемъ... Измѣняющіяся конкретная условія приносятъ новые данные для решенія этой задачи и для нового нахожденія этого всемирно-исторического искумаго... Не забудемъ, что идеаль равенства и свободы является отрицаніемъ этихъ условій, и уже потому не можетъ цѣликомъ въ нихъ воплотиться» **):

*) Тамъ же, стр. 303.

**) Тамъ же, стр. 307.

Итакъ, идеалъ равенства недостижимъ, хотя онъ выражаетъ лишь «требование возможнаго равенства условий для развитія личности». Почему же собственно недостижимъ? Развѣ нельзя допустить возможность въ будущемъ такихъ общественныхъ условий, при которыхъ неравенство въ условияхъ развитія личности *A* и личности *B* можетъ быть сдѣлано меныше всякой данной величины, т. е. теряетъ всякое практическое значеніе? Вѣдь это неравенство—не безконечная величина, — какъ все, что дано въ опыте, оно ограничено и конечно; а все, что ограничено и конечно, лежитъ принципіально въ предѣлахъ развивающихся человѣческихъ силъ. Но для вѣры *необходимо* сдѣлать идеаль недостижимымъ, иначе тутъ не во чѣмъ вѣрить.

Любопытно сопоставить съ этимъ научно-философское пониманіе идеала. Оно, напротивъ, допускаетъ *только достижимые* идеалы, находя, что невозможно *активно* стремиться къ недостижимому—о недостижимомъ можно только мечтать, это идоль, а не идеалъ. Для вѣрящаго мышленія достиженіе идеала есть «конецъ исторіи, неподвижность», потому что такое мышленіе консервативно, ему недоступно творчество новыхъ и новыхъ идеаловъ, оно получаетъ ихъ только извнѣ. Напротивъ, свободное мышленіе въ соединеніи съ активной волей, едва лишь достигаются одни идеалы, переходитъ творчески къ другимъ; оно не боится остановки.

Идеалъ свободы представляется г. Булгакову въ нѣсколько своеобразной окраскѣ:

«Легко различать зависимость внутреннюю или свободную и внѣшнюю или принудительную. Первую мы имѣемъ въ отношеніяхъ ученика къ учителю, читателя къ писателю, сына къ отцу и т. д. Подобная зависимость не только не нарушаетъ духовной свободы личности, но, по настоящему, она представляетъ поле для ея проявленія, ибо свобода личности фактически осуществляется лишь въ общеніи съ другими людьми» *)

Изъ всѣхъ формъ «свободной» зависимости не упомянута

*) Тамъ же, стр. 304.

какъ видимъ, именно та, которая *одна* вполнѣ заслуживаетъ этого названія—*товарищеская* форма взаимной зависимости. Ученикъ лишь постольку «свободно» зависитъ отъ учителя, читатель отъ писателя и т. д., поскольку одинъ относится къ другому не какъ авторитету, а какъ къ товарищу, поскольку ученикъ или читатель считаетъ себя принципіально не ниже учителя и писателя, и умѣеть отнести къ послѣднему вполнѣ сознательно, критически, а при случаѣ можетъ научить его чему-нибудь въ свою очередь. Г-ну Булгакову *смягченныя формы авторитарной зависимости* кажутся настоящей «духовной свободой», тогда какъ съ точки зрѣнія современного мышленія это далеко не такъ. Въ своихъ наиболѣе сильно выраженныхъ проявленіяхъ эта «свободная» авторитарная зависимость переходитъ въ самое настоящее духовное рабство—въ слѣпое поклоненіе человѣка человѣку, какъ низшаго существа высшему.

Все это мѣшаетъ намъ съ полнымъ довѣріемъ отнести къ жизненной надежности прогрессивныхъ стремленій г. Булгакова. Тѣ же слова означаютъ у просвѣщенаго клерикала нѣчто иное, чѣмъ у представителей дѣйствительно прогрессивныхъ формъ мышленія.

Но это еще не самое главное. Всего важнѣе глубокое, безысходное противорѣчіе между тѣми идеалами, о которыхъ г. Булгаковъ говоритъ, какъ бы сомнительно и неясно ни было у него ихъ пониманіе,—и той основной идеей, на которой онъ хочетъ строить свое міровоззрѣніе. Если представлять всю жизнь въ ея цѣломъ, весь міровой процессъ, какъ своего рода «послушаніе», если видѣть идеаль жизни въполномъ и безусловномъ подчиненіи каждой личной воли какой-то иной, но тоже личной волѣ, то **какая** еще можетъ быть рѣчь объ идеалахъ свободы и равенства, объ идеалахъ, исключающихъ личное подчиненіе? Рано или поздно, но они должны быть отвергнуты.

На первый взглядъ можетъ, конечно, показаться довольно естественнымъ и вѣроятнымъ, что человѣкъ, удовлетворяя вполнѣ свои рабскіе инстинкты въ одномъ мірѣ — въ области

трансцендентнаго, будеть чувствовать себя тѣмъ болѣе свободнымъ отъ нихъ въ другомъ мірѣ—въ сферѣ опыта. Это было бы мыслимо, если бы оба міра были абсолютно раздѣлены. Но это не такъ. Для вѣрящаго мышлѣнія они неразрывно сливаются между собою, и одинъ изъ нихъ есть только *проявленіе* другого. Авторитарное пониманіе основной связи міропорядка, и идеалъ автономной воли для эмпирическихъ проявленій этой связи—жизненно несовмѣстны между собою. Вотъ почему проевѣщенный клерикализмъ не можетъ составлять прочной системы міровоззрѣнія: это всегда лишь временное, неустойчивое равновѣсіе противоположныхъ жизненныхъ тенденцій. Время его разрушитъ.

4. Философскій кошмаръ.

Въ заголовкѣ было напечатано: «Э. Борецкая. Проблема объективности познанія. Ростовъ на Дону...» и т. д. Изъ предисловія — скромно и корректно написаннаго — я узналъ, что авторъ кантіанецъ, по «всюду, гдѣ лежить трудность, идущій своимъ собственнымъ путемъ», что «лично для него краткое резюмированіе хотя бы нѣкоторыхъ немногихъ его взглядовъ не лишено своеобразнаго интереса», о чёмъ «свидѣтельствуетъ изданіе этой книжки», и наконецъ, что «брюшюра эта далека отъ цѣлей популяризациіи» (стр. II). Все это вмѣстѣ не подавало никакого повода ожидать отъ книжки чего-нибудь особыннаго; я разсчитывалъ встрѣтить скучноватое гносеологическое разсужденіе, совершенно бесполезное, но и довольно безвредное, выгодно отличающееся отъ другихъ аналогичныхъ произведений небольшимъ объемомъ (66 страницъ) и отсутствиемъ цитать, отъ которыхъ авторъ обѣщаѣтъ избавить читателя, потому что «для объема и цѣли этой книжки онѣ были бы просто-на-просто суетнымъ щегольствомъ» (предисл., стр. II). Въ соотвѣтствіи со всѣми этими предположками запасся из-

вѣстнымъ количествомъ терпѣнія и вниманія и, благословаясь, послѣдовалъ за авторомъ въ область означенной «проблемы», разсчитывая въ свое время благополучно добраться до конца... книжки, а не проблемы, разумѣется. Но дѣйствительность жестоко разбила всѣ мои расчеты и ожиданія.

Уже съ первыхъ страницъ я сталъ замѣчать, что взятые мною запасы исчезали какъ-то удивительно быстро, страницѣ къ 10-ой удивленіе смѣнилось недоумѣніемъ, а мои запасы — воспоминаніемъ о нихъ. Собравшись съ силами, я продолжалъ... Недоумѣніе возрастило и страницы съ 15-ой стало осложняться чувствомъ какого-то угнетенія, не то физического, не то нравственнаго, страницѣ къ 20-ой это чувство выступило уже на первый планъ; но на 25-ой и оно потонуло въ волнахъ жестокой головной боли. Какое-то непонятное, стихійное упорство заставляло меня машинально читать далѣе. На стр. 27-ой я уже полуబезсознательно читалъ вслухъ слѣдующее:

«Этотъ путь построенія теоріи объективности основывается на такой интерпретації гносеологического субъекта, которая приписываетъ его природѣ всякой родѣ бытія, какъ потенциальное бытіе, возможное и осуществимое и въ истинѣ и въ ошибкѣ. Но изъ этого слѣдуетъ, что подобная гипотеза объективности вытекаетъ изъ истолкованія априорности, а мы говорили выше, что для нея нѣть никакой надобности опираться на априорность, какъ нѣть для такого дедуктивнаго замысла надобности опираться и на голый психологизмъ фактичности состояній сознанія. Каждущееся противорѣчіе между этими утвержденіями...» Тутъ буквы запрыгали у меня передъ глазами, смутное сознаніе какой-то опасности овладѣло душою, и только послѣ нѣсколькихъ стакановъ холодной воды я оказался въ состояніи дать себѣ отчетъ въ происходящемъ. Мне стало ясно, что необходимы рѣшительныя мѣры. Къ счастію, при большихъ дозахъ дѣйствіе наркотическихъ средствъ наступаетъ очень быстро, и уже черезъ 10—15 минутъ внутренний и внѣшній міръ смѣшались для меня въ хаотическомъ безразличіи.

Это счастливое состояніе продолжалось, однако, очень недолго. Изъ хаоса начали кристаллизоваться формы, то ясныя, то смутныя, но постоянно сменяющіяся, неустойчивыя; міръ—грезъ охватилъ меня своими чарами, на этотъ разъ—увы!—злыми чарами. Хуже всего было то, что исчезло всякое различіе между идеей и реальностью, высшія отвлеченія являлись въ чувственно-конкретныхъ воплощеніяхъ. Я скитался по дебрямъ Субъективности, мерзъ на снѣжныхъ высотахъ Объективности; преслѣдуемый по пятамъ грозными призраками Солипсизма и Скентицизма, я тщетно искалъ спасенія на Критическихъ Путяхъ и съ тоскою спрашивалъ у всѣхъ встрѣчныхъ Системъ, гдѣ проходитъ дорога къ Безусловной Истинѣ. Указанія были сбивчивы и противорѣчивы, я шелъ по Порочнымъ Кругамъ и наталкивался на собственные слѣды, пока, наконецъ, не былъ пойманъ въ качествѣ философски-нелегального и привлеченъ къ суду Трансцендентальнаго Субъекта. Тамъ мнѣ припомнили всѣ мои прошлые и настоящія преступленія противъ незыблемыхъ законовъ Философіи. Я былъ обвиненъ въ проживаніи безъ установленныхъ *a priori*, въ оскорблениі Абсолютнаго мыслю и словами, въ вооруженномъ сопротивленіі Категорическому Императиву при исполненіи его служебныхъ обязанностей. Попытки защищаться были тщетны: страхъ сковалъ мой языкъ, я не былъ въ силахъ выговорить ни одного изъ гносеологическихъ терминовъ, сразу же страшно перевралъ титулъ предсѣдателя, за что немедленно былъ лишенъ слова. Прокуроръ Кантъ былъ безпощаденъ, и меня приговоили ко внѣ-временной ссылкѣ въ Трансцендентное, въ отдаленнѣйшіе улузы области Ноуменовъ. Къ счастью, тутъ я проснулся.

Обдумывая положеніе вещей, я напалъ, какъ мнѣ показалось, на счастливую идею. Въ ближайшей библіотекѣ нашлось старинное «Руководство къ чтенію криптограммъ». Въ одномъ изъ первыхъ §§ я прочиталъ такое указаніе: «Если какая-либо комбинація знаковъ повторяется въ криптограммѣ несorазмѣрно часто, то надо попытаться упростить криптограмму, вычеркнув-

ши повсюду эту комбинацію, ибо можетъ статься, что она введена для усложненія текста криптограммы, какъ это бываетъ при «наивныхъ» способахъ шифрованія». Насчитавши на первой попавшейся страницѣ —небольшой страницѣ довольно крупнаго шрифта—14 разъ комбинацію «субъектъ» и 15 разъ комбинацію «объектъ» (стр. 12), я попробовалъ повсюду ихъ вычеркнуть; текстъ, однако, не сталъ яснѣе. Примѣненіе другихъ методовъ дешифрованія, какъ-то: систематической перестановки буквъ, ихъ подсчета и т. д., не дало также никакихъ положительныхъ результатовъ.

Оставалось принять, что книга написана «въ серъезъ». Профессиональное самолюбіе было задѣто, и книга была дочитана—постепенно, разумѣется—до конца. Путемъ перечитыванія и сопоставленій удалось выяснить слѣдующее. Кантіанство автора—наименѣе антипатичнаго оттѣнка, позитивнаго, враждебнаго метафизикѣ. Свои выводы авторъ резюмируетъ въ концѣ работы въ такихъ словахъ: «...Ни проблема объективности познанія, ни проблема познанія объективности не открываютъ перспективъ въ трансцендентный міръ. Принимая объективность своеобразнымъ бытіемъ, мы даже въ этомъ случаѣ не имѣемъ оснований ее субстанциализировать, ибо гносеологический субъектъ въ такой же мѣрѣ постулируетъ ея своеобразіе, какъ и ея имманентность. Поэтому цѣнности, которыя намъ приходится осуществлять въ познаніи, вытекаютъ изъ идеи самодержавнаго господства въ этой области гносеологического субъекта, и говорить трансцендентности—значитъ признать равнозначность понятій ноумenalности и трансцендентальности» (стр. 66. Я выбралъ эту формулировку, какъ одну изъ *наиболѣе леихъ и ясныхъ*. А. Б.).

Философіи приходится имѣть дѣло по преимуществу съ высшими абстракціями. Но высшая абстракція—это въ то же время самая безодержательная, самая безжизненная, самая далекая отъ непосредственной дѣятельности. Именно это дѣлаетъ особенно опасною специализацію на философскихъ вопросахъ.

Человѣкъ привыкаетъ къ отвлеченности и сливаются съ

ними, — но не какъ съ безжизненными формами; нѣть, человѣкъ можетъ жить только съ живымъ или съ тѣмъ, что онъ надѣлилъ жизнью. Философъ-специалистъ надѣляетъ ею мало-по-малу, невольно и незамѣтно для себя, привычныя абстракціи; онѣ получаютъ у него своеобразную, эфирно-тонкую плоть и кровь отъ тѣхъ познавательныхъ эмоцій, которыхъ ихъ сопровождаютъ, отъ массы смутныхъ, неопределенныхъ переживаний, которыхъ переплетаются съ этими эмоціями. Философъ живеть съ этими одушевленными абстракціями, онъ вступаетъ съ ними въ тѣсныя и непосредственные отношенія, и эта ихъ жизненность — субъективное порожденіе его съуженной психики — приобрѣтаетъ для него характеръ высшей объективности. Онъ уже не можетъ себѣ представить, что для всякаго другого эти абстракціи — совсѣмъ не то, что для него, не то по своему содержанію, не то по своимъ отношеніямъ. Онъ не понимаетъ того, что другіе не могутъ *такъ* жить съ ними и *такъ* сплетать ихъ со своею жизнью, какъ онъ, — что для другихъ все это иначе; разсказывая другимъ тѣ драмы, которыхъ переживаетъ онъ въ этомъ мірѣ своего *спеціального мышленія*, съ его своеобразными обитателями, онъ не понимаетъ того, что другіе *не могутъ* понять его сколько нибудь полно, что если бы кто-нибудь и понялъ, такъ только въ силу случайного совпаденія многихъ индивидуальныхъ особенностей.

Все это бываетъ не только съ философами — метафизиками, хотя съ ними это, конечно, происходитъ всего легче: «сверхъ-опытное» даетъ полный просторъ субъективному. Въ разбираемомъ нами случаѣ дѣло идетъ о философѣ, настроенномъ сравнительно позитивно, не лишенномъ критического чутья и обладающемъ не малыми логическими способностями. Но сущность дѣла остается все та же.

Болѣе здоровая натура нашего «специалиста» сказалась только въ тѣхъ смутныхъ предчувствіяхъ правильной оцѣнки своего чудовищнаго созданія, которыхъ кой-гдѣ у него проскальзываютъ. Онъ отмѣчаетъ въ предисловіи «значительный элементъ спорнаго и сомнительнаго, содержащейся въ его суж-

деніяхъ», и пытается утѣшить себя тѣмъ, что причина этого лежитъ въ его стремлениі «всюду, гдѣ есть трудность, ити своимъ собственнымъ путемъ»,—плохое утѣшеніе, потому что «свой собственный путь» означаетъ въ данномъ случаѣ—имѣющій значеніе и смыслъ *только* для самого автора, и ни для кого больше, только субъективно-цѣнныій. «Ну, что жъ», говорить авторъ,—«зато вѣдь лично для меня краткое резюмированіе хотя бы нѣкоторыхъ немногихъ моихъ взглядовъ не лишено своеобразнаго интереса».—Увы, тутъ есть невольная фальшь: «лично для себя» можно резюмировать письменно, но зачѣмъ же тогда печатать? — зачѣмъ издавать въ свѣтъ? — Дальше авторъ намекаетъ, что пишетъ-то онъ, разумѣется, не только для себя, но для очень немногихъ, именно специалистовъ («...бронюра далека отъ цѣлей популяризации»...). Но вѣдь и эти специалисты, въ сущности, не поймутъ его, потому что каждый изъ нихъ по своему одушевляетъ міръ философскихъ абстракцій, по своему живеть въ немъ. — Да, говорить авторъ, но что жъ дѣлать? «Философія вообще представляетъ собою скорѣе систему разногласій, чѣмъ систему согласій»... Но въ чемъ же заключается задача философіи? Именно въ томъ, чтобы *согласовать* все то, что люди переживаютъ. Хорошо же выполнить эту задачу «система разногласій»!

И тѣмъ не менѣе авторъ вполнѣ правъ по отношенію къ той *специализированной*, оторванной отъ жизни философіи, представителемъ которой онъ является. Да, она есть «система разногласій», она—область *субъективного*, она—прямое противорѣчіе своей задачѣ, она—блестящій примѣръ того искаженія жизни, того уродливаго вырожденія, которое приносить въ себѣ крайнемъ развитіи специализація.

Въ литературѣ и въ публикѣ теперь наблюдается необычно сильное увлеченіе философіей. Къ этому факту можно относиться различно. Можно радоваться тому «углубленію духовной культуры», которое должно явиться въ результатаѣ этого увлечения, можно печалиться о томъ, что немало свѣжихъ, молодыхъ силъ отдаляется на этомъ пути отъ непосредственной

жизни, съ ея жгучими потребностями и запросами, все болѣе возрастающими и все менѣе удовлетворенными. И та и другая точка зрѣнія имѣютъ за себя очень многое, но обѣ онѣ даютъ слишкомъ мало; здѣсь всего важнѣе «не плакать, не радоваться, а понимать».

Философія выражаетъ собою монистическую потребность жизни—стремленіе связать, согласовать, гармонически объединить пестрое, разнообразное, противорѣчиво-дробящееся содержаніе опыта. Въ наше время дисгармонія жизни страшно сильна и все болѣе возрастаетъ: такъ быстро, какъ никогда еще до сихъ порь, идетъ дифференціація общественнаго бытія и сознанія; различные интересы и стремленія сплетаются и спутываются до того своеобразно, сталкиваются до того рѣзко, что разобраться въ этихъ явленіяхъ, примирить хоть сколько-нибудь различныя точки зрѣнія на нихъ становится для личности почти невозможнымъ дѣломъ. Всего мучительнѣе такое положеніе вещей для тѣхъ промежуточныхъ группъ общества, въ которыхъ скрещиваются самыя различныя тенденціи развивающейся и отживающей жизни, для той «интеллигенціи», которая до сихъ порь составляла для литературы главную часть ея «публики». Здѣсь «монистическая потребность» обостряется до крайней степени, но безъ всякой надежды на ея реальное удовлетвореніе; «увлеченіе философіей» вспыхиваетъ съ особенностью силой, но, встрѣтившись съ непосильными задачами, скоро вырождается, принимаетъ уродливыя формы. Не находя никакой объединяющей точки зрѣнія на почвѣ самой жизни, люди начинаютъ искать ее *внѣ жизни*, одни—прямо въ потустороннемъ мірѣ мистики и метафизики, другіе—въ «логическомъ» мірѣ пустыхъ формальныхъ абстракцій. И конечно, все, что туда уходитъ, потерянно для жизни.

Есть другіе классы, для которыхъ современное развитіе несетъ болѣе простыя и ясныя, болѣе прозрачныя противорѣчія, для которыхъ сама жизнь намѣщаетъ и пути къ ихъ разрешенію. Въ тѣхъ классахъ временное обостреніе философской

потребности не ведеть къ ея вырожденію, потому что находитъ исходъ на болѣе здоровыхъ путяхъ.

Въ свое время «увлеченіе» пройдетъ, и это будетъ тогда, когда въ самой нашей жизни водворится хоть нѣкоторый, сколько-нибудь сносный порядокъ, когда она перестанетъ быть, какъ теперь, настоящимъ «организованнымъ беспорядкомъ». А до тѣхъ порь всякий, кто принужденъ считаться съ этимъ увлечениемъ, долженъ заботиться о томъ, чтобы направить его въ сторону нормального развитія, въ сторону положительного творчества.

Какъ нѣсколько разъ уже раньше на примѣрѣ нашихъ метафизиковъ, такъ теперь на примѣрѣ нашего «позитивиста» я имѣлъ въ виду показать, чѣмъ *не должна* быть философія и чѣмъ она слишкомъ легко становится въ эпоху дифференціаціи общественнаго бытія и специализаціи человѣческаго сознанія.

Философія измѣняетъ своимъ задачамъ, измѣняетъ себѣ самой, какъ только она забываетъ, что *въ живомъ опыте* лежать ея материалъ и ея исходная точка, что *гармонизация жизни*—ея неизмѣнная цѣль.

Революція и философія.

Революція дѣлаеть свое революціонное, философія—свое философское дѣло.

Въ чемъ сущность того и другого? Какова ихъ связь? И откуда, зачѣмъ самый вопросъ объ этой связи? Казалось бы, отношеніе ясно: революція—суровымъ борцамъ, философія—корткимъ мыслителямъ; не къ чemu искать общаго, не къ чemu затемнять простыя вещи насильственными сближеніями.

Въ дѣйствительности связь существуетъ, серьезная и глубокая. И это не только связь исторического развитія, въ силу которой тѣ или иные группы и классы ведутъ революціонную борьбу подъ знаменемъ той или иной философії, а философскія идеи реформируются подъ давленіемъ революціонной борьбы; это не только связь классовой борьбы и классовой идеологии. Нѣтъ, тутъ существуетъ еще иное отношеніе—связь основного содержанія, основного смысла философской и революціонной работы.

I.

Откуда возникаетъ революція и что она дѣлаеть?

Революція рождается изъ противорѣчій общественной жизни. Основа и сущность этихъ противорѣчій сводится къ несоответствію между трудовыми содержаніемъ общественной жизни и рамками, въ которыхъ оно заключено,—между развитіемъ «производительныхъ силъ» общества и его «идеологическими формами».

Для Великой Россійской революціи противорѣчіе это заключается въ громадномъ ростѣ общественного раздѣленія труда и развитіи машиннаго производства съ одной стороны, въ упор-

ной неподвижности полу-феодального государственного и юридического строя—съ другой.

Развивающееся общественное раздѣленіе труда требуетъ громадной гибкости, громадной подвижности въ трудовыхъ отношеніяхъ людей,—и еще въ большей степени требуетъ того же машинное производство съ его непрерывно измѣняющейся техникой. Этому развитію со стихійной грубостью и механичностью противодѣствуютъ окаменѣлые формы бюрократического строя, на каждомъ шагу опутывая жизнь людей своей стѣснительной опекою.

Ростъ крупной промышленности означаетъ необходимость обширного и постоянно расширяющагося рынка, т. е. въ такой по преимуществу земледѣльческой странѣ, какъ Россія,— необходимость зажиточного, хозяйственного крестьянства. Старый полуфеодальный классъ помѣщиковъ и порожденное имъ господствующее въ государственной жизни чиновничество паразитически истощаютъ крестьянство и весь народъ, въ корне подрывая внутренній рынокъ. Машина нуждается въ сознательномъ работнику, способномъ съ полнымъ пониманіемъ управлять ея сложно-комбинированными движеніями. Такой работникъ—живое противорѣчіе въ политической системѣ, построенной на безсознательности обывателей. Но машинное производство, несмотря ни на что, *создаетъ* такого работника; и пролетариатъ, объединенный фабрикой и городомъ, революціонизированный буржуазной эксплоатацией и государственнымъ гнетомъ, становится могучей организующей силой, способной придать единство и послѣдовательность борьбѣ общества противъ невыносимыхъ для него противорѣчий.

Такъ возникаютъ элементы революціи: ея движущая сила—въ видѣ глубокихъ, непрерывно обостряющихся противорѣчий общественного бытія людей, и ея организующая сила—въ видѣ направленного на эти противорѣчія общественного сознанія классовъ. Когда, послѣ долгаго, мучительного развитія, тѣ и другіе элементы достигаютъ зрѣлости — тогда разражается революціонная гроза. Ея стихійные удары разру-

шаются все, что стоит на пути растущей жизни, что стало для нея оковами и цепями, что порождает невыносимый для нея противоречия. Порывистое творчество революции создает иную, новую оболочку для социального процесса—новые формы, органически соответствующие его новымъ жизненнымъ условіямъ.

Социальное цѣлое поднимается на следующую, болѣе высокую ступень организаціи. Начинается новый циклъ исторического движения. Ускоренный прогрессъ жизни, вначалѣ сравнительно гармоничный, начинаетъ затѣмъ вновь приносить противоречия. Опять социальное тѣло перерастаетъ свою одежду опять обостряется политическая и идеальная борьба классовъ,—опять назрѣваетъ общественный переворотъ... Это продолжается до той великой, послѣдней революціи, которая *измѣняетъ самыи типъ социального развитія*, которая на мѣсто противорѣчиваго развитія въ борьбѣ классовъ ставитъ *гармоническое развитіе въ системѣ всеобщаго сотрудничества*.

Революція—это социальная критика и социальное творчество, достигающія одновременно высшей напряженности въ порывѣ экстаза, охватывающаго общество. Ея критическая работа—устраненіе общихъ противорѣчий социального бытія и сознанія и ея творческая работа—созданіе новыхъ формъ коллективной жизни—имѣютъ одинъ и тотъ же смыслъ, одну и ту же цѣль. Это—*гармонизация человѣческаго существованія*. Но не мелкая, повседневная «гармонизация», устраниющая маленькая частная противорѣчія жизни, создающая маленькая, частная приспособленія въ предѣлахъ все однихъ и тѣхъ же общихъ формъ; нѣть, это гармонизация самихъ *общихъ формъ* съ ихъ общимъ содержаніемъ.

Такова работа революціи, таково ся коренное различіе съ «эволюціей» въ рамкахъ обыденной жизни общества.

II.

Откуда возникаетъ философія и что она дѣластъ?

Философія рождается изъ познавательныхъ противорѣчий человѣческаго опыта. Сущность всѣхъ этихъ противорѣчий заклю-

чается въ несоответствіи между содеряніемъ опыта людей и его исторически выработанными познавательными формами, между тѣми данными, которыя люди находять въ своихъ переживаніяхъ, и тѣми общими представлениями, идеями, догмами, посредствомъ которыхъ они привыкли связывать и объединять эти переживанія.

Такъ, соціальная философія Маркса была вызвана къ жизни громадною массою противорѣчій, въ которыхъ запуталось современное ему человѣчество въ сферѣ познанія самого себя, своей общественной природы. Основное и всеобщее противорѣчіе, въ которомъ вся остальная резюмировалась, какъ его частности и развѣтвленія, было таково: люди привыкли думать, что ихъ соціальной жизнью и судьбою управляетъ *разумъ*, если не высшій разумъ божества, то по крайней мѣрѣ ограниченный, но прогрессирующій разумъ людей; этимъ представлениемъ было насквозь проникнуто соціальное міропониманіе людей; а между тѣмъ вся переживаемая ими дѣйствительность рѣзко и мучительно опровергала его. На каждомъ шагу люди убѣждались, что рядомъ съ прогрессомъ науки и просвѣщенія можетъ совершаться ростъ явной неразумности въ самомъ общественномъ строѣ, что параллельно съ распространеніемъ гуманныхъ идей можетъ идти развитіе безчеловѣчности во взаимныхъ отношеніяхъ людей, что самыя обдуманныя дѣйствія часто приводятъ къ результатамъ, противоположнымъ поставленной цѣли, что самыя справедливыя желанія, требованія, попытки отдельныхъ личностей и цѣлыхъ классовъ наталкиваются на какую-то роковую силу, неуловимую и въ то же время непреодолимую, безличную и въ то же время какъ будто умышленно враждебную. Безчисленныя, жестокія проявленія несовершенства и неразумности соціального устройства возбуждали во всѣхъ жертвахъ этихъ проявлений и во всѣхъ, кто способенъ былъ сочувствовать жертвамъ, жгучую потребность въ цѣлесообразной соціальной дѣятельности, въ планомѣрной работе, реформирующей строй общества въ интересахъ разума и справедливости; но старое соціальное міровоззрѣніе было бессильно указать путь для та-

кой работы,—всѣ попытки соціально-реформаторской дѣятельности, стоявшія на его почвѣ, терпѣли неизбѣжное крушеніе, а герои этихъ попытокъ отходили въ область исторіи съ грустно-почтительнымъ прозваніемъ «утопистовъ». Бездилѣ познанія отнимало опору у практики, противорѣчіе идеи съ опытомъ превращалось въ суровое реальное противорѣчіе.

Однако, въ предѣлахъ соціального опыта людей имѣлся также матеріаль иного рода. Если классамъ угнетеннымъ и всѣмъ, кто былъ на ихъ сторонѣ, ничего не удавалось въ ихъ попыткахъ разумно передѣлать общество, если съ ихъ точки зрѣнія весь ходъ общественной жизни оказывался насквозь неразумнымъ,—то были и другіе классы, которымъ, напротивъ, «все удавалось» въ ихъ стремленіяхъ устроиться въ обществѣ какъ можно удобнѣе, которымъ шли на пользу даже освободительныя усиія угнетенныхъ и утопистовъ, не приносившія желанныхъ результатовъ самимъ борцамъ; были классы, для которыхъ въ «безумії» соціальныхъ отношеній и соціального развитія была не только нѣкоторая «послѣдовательность», но даже высокая мудрость... Это были тѣ классы, во власти которыхъ находилась матеріальная сила общества. И въ то же время среди угнетенныхъ классовъ выдвигался одинъ, который, объединяясь все тѣснѣе и выступая противъ эксплоататорскихъ классовъ все рѣшительнѣе, не разъ уже вынуждалъ ихъ къ нѣкоторымъ уступкамъ,—достигалъ частичныхъ «разумныхъ» и «справедливыхъ» цѣлей. То былъ классъ, который возрасталъ и организовывался благодаря самому процессу развитія матеріальной силы общества въ его борьбѣ съ природой, классъ, который былъ и реальнымъ творцомъ этой силы, и ея жертвою, и носителемъ ея развитія,—то былъ промышленный пролетариатъ. Его не подавляло до безнадежности «неразуміе» и «несправедливость» соціального устройства, хотя, быть можетъ, больше всѣхъ другихъ классовъ онъ испытывалъ на себѣ то и другое; онъ чувствовалъ въ себѣ силу бороться за свой собственный «разумъ» и «справедливость», и эта сила росла; а идеалы классового «разума» и «справедливости» становились

все яснѣе въ его сознаніи по мѣрѣ того, какъ его численность, его объединеніе, его товарищеская сплоченность, его пониманіе соціальныхъ отношеній развивались въ процессѣ его труда и борьбы.

Такъ одновременно съ кореннымъ противорѣчіемъ соціального міровоззрѣнія людей и ихъ соціального опыта намѣчались элементы для нового міровоззрѣнія, устраниющаго это противорѣчіе. Разрѣшеніе задачи и было дано соціальной философіей Маркса. Противорѣчіе исчезло, разъ было установлено, что самое «сознаніе людей опредѣляется ихъ общественнымъ бытіемъ, не бытіе сознаніемъ». Стихійность, «неразумность», «несправедливость» соціального процесса нашли свое мѣсто въ познаніи; а вмѣстѣ съ тѣмъ впервые выступила возможность объективно и научно изслѣдоватъ развитіе «общественного сознанія»—идеологии. Потребность въ планомѣрной соціально-творческой дѣятельности получила твердую опору въ пониманіи реальной основы общественного развитія и его исторически данной общей формы—въ ученіи о развитіи производства и о классовой борьбѣ. Все это дала соціальная философія Маркса и всѣмъ этимъ она выполнила ту «гармонизацію» соціального познанія, которая была жизненно необходима для новыхъ классовъ—носителей общественного прогресса.

Постоянно совершающееся развитіе науки въ каждомъ отдельномъ своемъ проявленіи есть также «гармонизаціи человѣческаго опыта». Но «философскимъ» можно называть только актъ познавательной работы, который создаетъ или преобразуетъ общія формы познанія. Это въ полной мѣрѣ относится къ ученію Маркса. Оно преобразовало не только соціальную науку, не только формы познанія соціальной жизни. *Все* познаніе лежитъ въ сферѣ его реформирующего дѣйствія; *все* познавательные формы—и самая общія изъ нихъ прежде всего—получаютъ въ зависимости отъ него новый смыслъ и новое значеніе, не только тѣ, которые должны непосредственно измѣниться подъ этимъ дѣйствиемъ, но и тѣ, которые продолжаютъ сохраняться въ относительно неизмѣненномъ видѣ.

Если признано, что познаніе опредѣляется общественнымъ бытіемъ людей, то исчезаетъ все абсолютное въ познаніи. Всѣ его формы изъ отвлеченныхъ схемъ, какими онъ казались раньше, превращаются въ реальные продукты соціального творчества, въ живую оболочку развивающаго соціального опыта, органически имъ порождаемую. Для каждой познавательной комбинаціи ставится вопросъ объ ея генезисѣ изъ общественного бытія, объ ея соціально-трудовой основѣ. *Все познаніе становится инымъ;* въ то же время все оно проникается новою объединяющей связью.

III.

Я отнюдь не случайно взялъ именно учение Маркса какъ иллюстрацію жизненнаго смысла философіи. Ни одна доктрина, ни одна система изъ тѣхъ, которыхъ существовали до Маркса, не была «философіей» въ такомъ строгомъ и полномъ значеніи этого слова, какъ исторический матеріализмъ. Ни одна не достигала такого единства точки зрѣнія на познаніе и жизнь, ни одна не открывала такой беспредѣльно расширяющейся возможности активно гармонизировать познаніе и жизнь. Въ учении Маркса философія впервые нашла самое себя, свое мѣсто въ природѣ и въ обществѣ, а не надъ ними и вѣтъ ихъ.

Старая философія не знала своего собственного происхожденія. Стремясь объединить содержаніе опыта въ связное цѣлое, она въ этой работѣ не могла, конечно, избѣгнуть зависимости отъ своей соціальной среды; ея объединяющія формы, смутно или ясно, но неизбѣжно отражали въ себѣ строеніе и организацію основной области соціального опыта, *основныя* жизненные отношенія трудового общества; но философія дѣлала это безсознательно. Не понимая, откуда берутся объединяющіе формы и каково ихъ реальное значеніе, она не въ силахъ была дѣйствительно овладѣть ими, подпала подъ власть своихъ собственныхъ орудій—стихійно сложившихся понятій, становилась игрушкою тѣхъ неуловимыхъ для нея соціальныхъ силъ, ко-

торыми ся понятія создавались. Благодаря этому, старая философія всегда страдала существенной неполнотою, всегда заключала противорѣчіе въ самой своей основѣ и была насквозь проникнута своеобразнымъ фетишизмомъ.

Коренная неполнота міровоззрѣнія состояла въ томъ, что философія, оторванная отъ области непосредственной борьбы человѣка съ природою,—отъ той области соціального бытія, где лежитъ исходная точка всякаго соціального развитія, философія была не въ силахъ понять и «объяснить» самый фактъ развитія—фактъ наиболѣе важный въ жизни человѣчества. Она либо игнорировала этотъ фактъ,—что было въ сущности отказомъ отъ ея главной задачи,—либо пыталась подвести его подъ привычные для нея логические процессы, — что было покушеніемъ съ совершенно негодными средствами.

Основное противорѣчіе заключалось въ томъ, что, имѣя своей задачею идеальное объединеніе *всего* сущаго, философія была всегда построена на *разрывѣ* природы и познанія. Это выражалось либо въ дуализмѣ—явномъ, какъ у Декарта, или замаскированномъ формальнымъ единствомъ, какъ у Спинозы; но тогда не могло быть и рѣчи о дѣйствительномъ философскомъ объединеніи всего сущаго, да и самая возможность познанія природы превращалась, при отсутствії моста между познаніемъ и природою, въ сплошное чудо; либо одна изъ двухъ сторонъ мысленно уничтожалась: познаніе объявлялось комбинаціей атомныхъ движений и становилось совершенно на себя непохожимъ; или природа признавалась «инобытиемъ» познающаго духа, но и не думала по этому случаю отказываться отъ своей собственной логики. Здѣсь дѣло философъ-систематиковъ свелось къ замазыванью противорѣчія при помощи хитрыхъ словесныхъ оборотовъ.

Наконецъ, тотъ-же разрывъ объединяющихъ философскихъ формъ съ живой жизнью приводилъ и къ превращенію ихъ въ фетиши познанія: онѣ пріобрѣтали самостоятельное существование и абсолютное значение. Въ первичныхъ философіяхъ—религіозныхъ—этотъ разрывъ и этотъ фетишизмъ имѣли наивно,

конкретный характеръ: объединяющія формы, называемыя богами, имѣли мѣсто жительства не на землѣ, а на небѣ, и были одѣты плотью и кровью ничуть не хуже людей. Въ позднѣйшихъ философіяхъ—отвлеченныхъ—эти формы исходали до степени абстрактныхъ призраковъ, одѣтыхъ лишь тонкою оболочкою словъ, но гордость ихъ ничуть не уменьшилась отъ этого, онъ не допускали и мысли о кровномъ родствѣ съ группой реальностью, ни тѣмъ болѣе о подчиненіи ей. За это онъ платили полной безжизненностью, что, впрочемъ, уже само по себѣ часто было прогрессомъ: когда умирали старые боги, то они нерѣдко становились вампирами и долго еще пили кровь живыхъ людей; когда же умирали метафизическая абстракція, то отъ нихъ оставалась, какъ отъ насѣкомыхъ, лишь сравнительно безвредная пустая скорлупа. Во всякомъ случаѣ и фетишизмъ религіозный, отражавшій власть надъ человѣкомъ вѣнчаней природы, и фетишизмъ метафизической, отражавшій господство надъ нимъ его общественныхъ отношеній, стали препятствіями для развитія, направленного къ устраненію того и другого рабства людей.

Порожденная новыми общественными силами, философія Маркса указала выходъ изъ того положенія, которое было безвыходно для старой философіи — идеологии старыхъ классовъ. Познаніе, какъ приспособленіе къ соціально-трудовой борьбѣ, познаніе, какъ орудіе, путемъ обработки пережитаго опыта обусловливающее успѣшность дальнѣйшей борьбы съ природою, философія, какъ специальный организующій центръ познанія — все это нашло свое мѣсто въ живой жизни. Слившись съ нею и сознательно подчинившись ей, какъ органъ своему цѣлому, познаніе и философія впервые оказались въ силахъ дѣйствительно охватить ее всю, дѣйствительно овладѣть ею.

Конечно, идея Маркса не дала всего этого сразу, въ готовомъ видѣ, но она указала задачу и путь ея решенія. По отношенію къ философіи то и другое формулируется въ слѣдующемъ требованіи: опираясь на изслѣдованіе общественнаго развитія, найти законы развитія познавательныхъ формъ и усло-

вія ихъ наибольшаго совершенства—наибольшаго соотвѣтствія ихъ жизненной цѣли.

Рѣшеніе задачи требуетъ напряженного труда, можетъ быть, не одного еще поколѣнія работниковъ, а въ самомъ этомъ трудѣ требуетъ неуклонной послѣдовательности и рѣшительности, не останавливающейся въ анализѣ ни передъ какими привычками мысли. Всѣ формы познанія и мышленія, отъ самыхъ частныхъ до самыхъ общихъ, отъ самыхъ случайныхъ до тѣхъ, которыя кажутся вѣчными и безусловными, надо изслѣдовать, какъ *продукты и орудія* соціально-трудовой борьбы человѣка за его существованіе.

Въ области простѣйшихъ и низшихъ понятій, свойственныхъ уже наиболѣе первобытной человѣческой психикѣ, такая связь труда и познанія обнаруживается легко, выступаетъ ясно почти сама собою. Но въ сферѣ различныхъ «чистыхъ категорій» и всеобъемлющихъ формъ она глубоко маскируется долгимъ процессомъ развитія, отъ котораго налицо имѣется зачастую только конечный результатъ. Поэтому здѣсь фетишизмъ познавательныхъ формъ достигаетъ высшей степени и преодолѣвается всего труднѣе.

Даже очень рѣшительное и прогрессивное философское мышленіе можетъ оказаться склоннымъ безъ анализа, какъ бы съ чувствомъ оскорблѣнія, отвернуться отъ той, напр., мысли, что всѣ исторически-распространенные формы дуализма, религіознаго и философскаго,—дуализма духа и тѣла, бога и міра, вещи въ себѣ и явленія, — представляютъ изъ себя простое отраженіе привычнаго соціально-трудового дуализма организаторской и исполнительской работы и его производной формы, господства-подчиненія. Нужно поистинѣ хладнокровіе анатома, чтобы въ величественной концепціи Бога — субстанціи у Спинозы, въ ея всеобъемлющемъ характерѣ и неуловимомъ непосредственномъ содержаніи найти кристаллизованное отраженіе той необходимой и несомнѣнной, стихийно дающей себя чувствовать, связи всѣхъ элементовъ мѣнового общества, соціально-трудовое содержаніе которой остается, однако, невидимымъ и

непонятнымъ для членовъ этого общества въ силу закрывающей собою это содержаніе борьбы частныхъ интересовъ и порождаемаго ею фетишизма. Надо отрѣшиться отъ многихъ, паразитирующихъ даже въ сферѣ чистой науки предразсудковъ, чтобы понять, что удовлетвориться въ міровоззрѣніи какой бы то ни было атомистикой или монадологіей, дробящей міръ на безконечное число независимыхъ реальностей, можетъ только сознаніе, воспитанное на индивидуалистическомъ дробленіи жизни соціального цѣлага, вытекающимъ изъ той же основной анархіи и противорѣчій мѣнового общества...

Дѣло, разумѣется, не въ этихъ иллюстраціяхъ: онѣ могутъ быть спорными, онѣ могли-бы даже быть невѣрными,—но необходимость неуклоннаго изслѣдованія, идущаго въ такомъ направлениі, остается неизмѣнной. Надо помнить, что *все познаніе и все отвлеченніе мышленіе сложились въ рамкахъ соціально-трудового существованія человѣка*. До-соціальный предокъ человѣка могъ обладать только конкретнымъ сознаніемъ и образнымъ мышленіемъ животнаго. То, что создалось на основѣ общественного бытія, въ зависимости отъ него должно быть и понято. Тогда только философія познаетъ себя и будетъ способна идти впередъ не ощупью, а вполнѣ сознательно и планомѣрно.

* * *

Теперь намъ нетрудно уже формулировать основное и существенное соотношеніе между работой революціи и работой философіи.

Въ двухъ различныхъ областяхъ—въ «практикѣ» и въ «познаніи»—каждая изъ нихъ выполняетъ одну и ту же задачу—гармонизацію развивающагося жизненнаго содерянія съ его общими формами. Неразрывная связь обѣихъ областей въ соціально-трудовомъ процессѣ создаетъ тѣсную взаимную зависимость въ дѣлѣ осуществленія обѣихъ задачъ.

Элементы для своихъ объединяющихъ формъ философія черпаетъ изъ жизни. Потребность въ монизмѣ — т. е. въ философіи — тѣмъ глубже и сильнѣе, а энергія и плодотворность труда въ этомъ направленіи тѣмъ выше, чѣмъ интенсивнѣе происходитъ гармонизация въ сферѣ практической жизни. Монистическое или эклектическое, философское или филистерское направленіе умовъ воспитывается практической жизнью. Когда вся общественная жизнь проникнута основной двойственностью — растущаго содержанія и неподвижныхъ формъ, его облекающихъ, тогда въ мышленіи людей обнаруживаются двѣ противоположныхъ тенденціи. Тѣ классы, которымъ выгоднѣе существующее положеніе, которые отстаиваютъ политическую, правовую, моральную систему, стоящую въ противорѣчіи съ жизнью,—тѣ классы, сживаясь всей душою съ противорѣчіемъ реальнымъ, притупляютъ и утрачиваютъ чувствительность къ противорѣчіямъ «идеальнымъ»; они — грубые эклектики: религія у нихъ сплетается съ наукой, абсолютная нравственность съ пошлѣйшимъ оппортунизмомъ и мелкимъ эпікуреизмомъ, у нихъ нѣтъ логики, а есть только *интересы*. Наоборотъ, тѣ классы, въ которыхъ растетъ и зреетъ революція, въ которыхъ зарождается новая гармонія общественной жизни, которые развиваются одну, прогрессивную сторону коренного соціального противорѣчія и стремятся уничтожить другую,—тѣ классы полны монистической логики и философскаго настроенія, они невольно и неизбѣжно требуютъ отъ познанія того-же, чего и отъ жизни — гармоніи, единства. И побѣда революціи, гармонизируя жизнь, создаетъ новые стимулы и новый матеріалъ для гармонизации познанія.

Такъ революція, начиная отъ своего невидимаго зарожденія и вплоть до своего окончательного торжества и завершенія, выполняетъ *не только великое дѣло жизни, но и великое философское дѣло*.

Роль философіи по отношенію къ революціи не такъ определена, потому что она стоитъ дальше отъ первичаго твор-

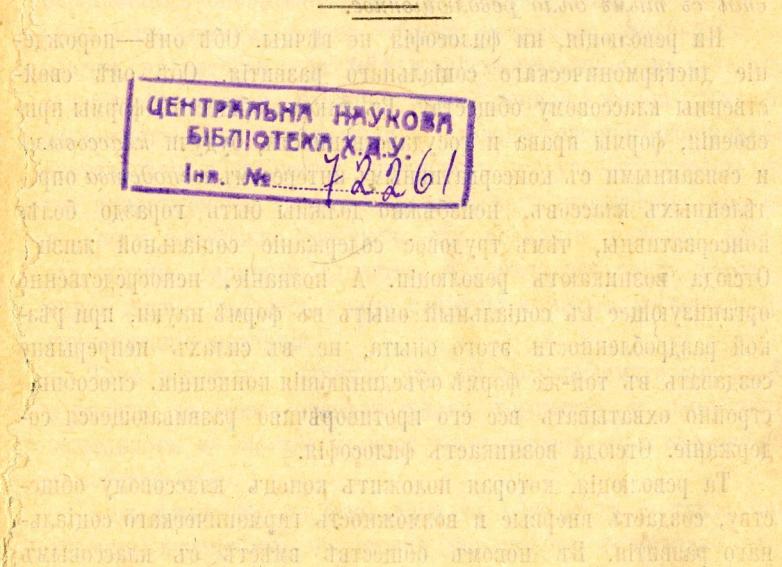
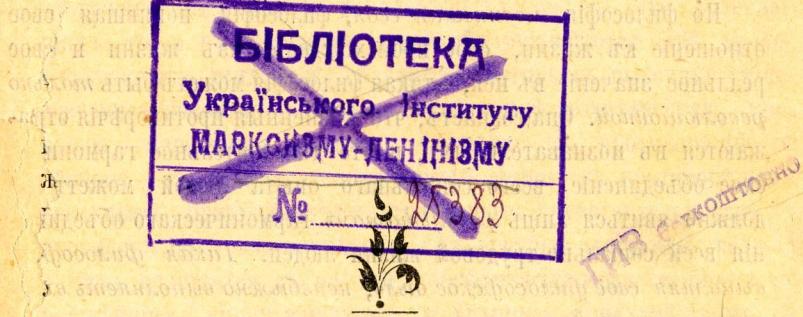
чества жизни. Старая философия бывала иногда инстинктивно-реакционной, иногда — инстинктивно-революционной, смотря по своей связи с тѣми или другими социальными силами. Часто ея собственный консерватизмъ,—который у нея значительнѣе, чѣмъ у многихъ другихъ, менѣе широкихъ идеологическихъ формъ,—этотъ консерватизмъ, съ измѣненіемъ роли обществен-наго класса, создавшаго данную философию, изъ революционной дѣлалъ ее реакціонной.

Но философиа, познавшая себя, философиа, понявшая свое отношеніе къ жизни, свое происхожденіе изъ жизни и свое реальное значеніе въ ней,—такая философиа можетъ быть только революционной. Она сознаетъ, что жизненныя противорѣчія отра-жаются въ познавательныхъ, и что дѣйствительное гармони- ское объединеніе всего социального опыта людей можетъ должно явиться лишь результатомъ гармонического объеди- нія всей социально-трудовой жизни людей. Такая филосо- фия выполняя свое философское дѣло, неизбѣжно выполняетъ въ- сть съ тѣмъ дѣло революціонное.

Ни революція, ни философиа не вѣчны. Обѣ онѣ—порожде- ние дисгармонического социального развитія. Обѣ онѣ свой- ственные классовому обществу. Въ такомъ обществѣ формы при- своемія, формы права и государственности, будучи классовыми и связанными съ консервативнымъ интересомъ господства опр- дѣленныхъ классовъ, неизбѣжно должны быть гораздо болѣе консервативны, чѣмъ трудовое содержаніе социальной жизни. Отсюда возникаютъ революціи. А познаніе, непосредственное организующее въ социальный опытъ въ формѣ науки, при рѣз- кой раздробленности этого опыта, не въ силахъ непрерывно создавать въ той-же формѣ объединяющія концепціи, способные стройно охватывать все его противорѣчиво развивающееся со- держаніе. Отсюда возникаетъ философиа.

Та революція, которая положить конецъ классовому общес- тву, создастъ впервые и возможность гармонического социаль- наго развитія. Въ новомъ обществѣ вмѣстѣ съ классовымъ

господствомъ исчезнетъ классовый консерватизмъ идеологическихъ формъ, а изъ товарищескаго единенія людей въ системѣ организованнаго труда выработается единство и связность соціального опыта. Тогда революція растворится въ непрерывномъ и стройномъ прогрессѣ организованной соціальной жизни, а философія — въ непрерывномъ и стройномъ прогрессѣ материализма науки... фантастичнаго отвѣтства, вслѣдъ котораго она



Главление:

Отъ автора.	I.
I. Въ полѣ зрењія	1
II. Что такое идеализмъ?	10
III. Развитіе жизни въ природѣ и обществѣ	38
IV. Авторитарное мышленіе	110
V. Новое средневѣковье:	184
1) О «проблемахъ идеализма» <i>(Бердяевъ, Бунаковъ)</i>	184
2) О пользѣ знанія <i>(Бердяевъ, Кирсановъ, Черт-Зинъ)</i>	224
3) Отзвуки минувшаго <i>(Бунаковъ, Отчесовъ, Кирсановъ)</i>	232
4) Философскій кошмаръ	261
VI. Революція и философія	269

Статьи, предлагаемыя здѣсь вниманію читателя, были первона-
чально гомѣщены въ журналахъ:

«Въ полѣ зрењія»—1903, XI, — «Образованіе».

«Что такое идеализмъ?»—1901, XII, — «Образованіе».

«Развитіе жизни»—1902, III, IV, V, VI, — «Образованіе».

«Авторитарное мышленіе»—1903 IV, V, VI, — «Образованіе».

«О проблемахъ идеализма»—1903 III, — «Образованіе».

«О пользѣ знанія» 1904, I, — «Правда».

«Отзвуки минувшаго»—1904, I, — «Образованіе».

«Философскій кошмаръ»—1904, IV, — «Правда».

«Революція и философія»—1906, 2, — «Образованіе».

